

Заграждение Реального vs. загражденное Реальное

Александр Смулянский

Реальное – в чем, собственно, дело?

Сказать, что Реальное терпит сегодня дефицит политического осмысления, мы никак не можем. Более того, любую категоризацию Реального сегодня, по моему мнению, сопровождает уверенность в том, что это известное лакановское понятие сможет сделаться жизнеспособным только в том случае, если оно будет расти на политической почве. Все сегодня наводит на мысль о том, что без политического измерения нельзя надеяться выявить тот предельный пункт, к которому Реальное отсылает – я не говорю «предельный смысл», так как политическое сегодня делается отнюдь не «смыслом», равно как и творят его не «индивиды».

Более того, в вопросе о Реальном сегодня, как правило, склонны вставлять лагеря у двух оппозиционных возможностей. В них решается, определяется ли Реальное через политическое или же, напротив, само Реальное ставит политическое в тупик, заставляя его переосмыслить свои основания. По существу, здесь ставится вопрос о том, способно ли политическое преодолеть пресловутую темноту Реального, или же политическое вынуждено признать, что темнота эта есть темнота его собственная.

Полноту ошибочности этого спора я постараюсь показать ниже – пока же будет достаточным лишь указать, что нынешнее «политическое расположение» в отношении Реального исчерпывающе представлено, прежде всего, самой возможностью о Реальном говорить. Факт этой возможности в спорах о Реальном практически не берут в расчет, полагая его, возможно, само собой разумеющимся. Я же, напротив, считаю необходимым учитывать, что даже сама возможность вести речь о Реальном является вполне историчной. Более того, если мы заговорим о «сказуемости», то точно то же следует сказать и о невозможности вынести о Реальном непосредственное суждение – невозможности, которая стала столь прославленной и которая даже была возведена в высшее «демократическое»

достоинство (о последствиях чего пойдет речь ниже). Необходимо заметить, что эта знаменитая невозможность высказаться о Реальном прямо – равно как и возможность спрашивать – вовсе не является аисторичной. Поэтому когда сегодня восторженно высказываются о «несказуемости» Реального, совершают ход, чреватость которого также требует осмысления.

Необходимо с самого начала постулировать: вопрос о Реальном ставится и решается с таким трудом отнюдь не потому, что его закрывают от нас высшие апофатические рубежи, отгораживающие сакральный смысл от любопытства досужей профанности. Верно, что на пути всякого постижения Реального стоит невозможность принять в его отношении какое бы то ни было решение. Но сама эта невозможность должна получить объяснение, способное показать, что перед нами – не род вдохновляющей тайны, равно как и не род какого-то мистического бессилия. Невозможность подыскать Реальному удовлетворительное (гуманитарное? академическое?) определение является вполне и определенно политической невозможностью – не в том смысле, что взята она из конкретного политического ангажемента, а в том, в котором эта невозможность и ее продлевающее «обыгрывание» само является практикой вовлекающего ангажирования и политизации, с одной стороны, и в то же время практикой деполитизации, – с другой. Каким образом выглядит это балансирование и какого рода участие принимают в нем течения, относящие себя к современной критической теории, включая и гендерную критику? И здесь я хотел бы высказать провокативный тезис о том, что именно у гендерной критики в доступе к понятию Реального было, по моему мнению, то, что можно было бы назвать ее «звездным часом», который – и это делает положение наиболее интригующим – остался для современной западной, а значит и постсоветской гендерной теории пока не признанным.

Реальное и субверсивная твердыня

Речь пойдет о тексте, собирающем воедино ряд вещей, которые в публичном обсуждении остаются, по моему мнению, неизбежно разрозненными не только в постсоветском академическом пространстве. Это книга *Contingency, Hegemony, Universality* (2000), написанная в дискуссии тремя авторами – Эрнесто Лаклау, Джудит Батлер и Славоем Жижекком. Книга в целом по своему устройству больше всего напоминает, по моему мнению, косу, свитую из трех прядей, которые одна за другой выныривают на поверхность, вынося с собой понятия «политического», «универсального», «гегемонного» и «Реального», которое в итоге претендует на центральное место во всей интриге. Место Реальному удается занять лишь тогда, когда выясняется, что обсуждение Реального изначально подстерегал тупик.

Целью данной статьи является отнюдь не какая бы то ни было «критика». Напротив, я хотел бы проанализировать подробности и каждого аналитическо-

го успеха, и каждой неудачи каждого из трех авторов. В то же время в центре внимания будет находиться *успешность и неудачливость именно гендерной теории*, которая в данной дискуссии была представлена Джудит Батлер. Речь идет о том, что именно гендерная теория в лице Батлер станет предпочтительным местом нашего триангулярного обзора концепта Реального. Я надеюсь, что в конце текста статьи станет очевидно, насколько особый путь избрала Батлер – избрала, так и не пройдя, как я попытаюсь доказать, по нему до конца. В то же время именно Батлер, по моему мнению, удалось в этой дискуссии настоять на том, что остальным участникам дискуссии так и не открылось.

Итак, с самого начала участники дискуссии полностью принимают два признака Реального, которые были определены Лаканом. Первый из них – согласие, что Реальное представляет собой нечто «невозможное», и тем самым должно быть усмотрено вне перспективы символического. Во-вторых, лакановский тезис о том, что Реальное представляет собой по сути то, что «возвращается» – в этом его настоятельность и заключается. Но именно с признания этих двух признаков Реального и начинаются основные трудности дискуссантов.

Каждый из них решает их по-своему. Так, Лаклау полагает, что Реальным является изначальная расщепленность всякого политического намерения, антагонистический зазор, который образуется по причине невозможности для любого дискурса представить собой то универсальное, на которое он претендует и которое в итоге не достается никому, коловращаясь среди сообщества и вызывая политические смещения и переустановки. Ему возражает Батлер, которую смущает та непеременимость, с которой этот таинственный зазор каждый раз появляется как *deus ex machine*. Батлер не без основания считает, что здесь, в самой сердцевине вершашегося исторического Лаклау допускает аисторический срыв. На это Лаклау отвечает, что Батлер неверно поняла, что он имел в виду: Реальное – это что-то, что прерывает сам порядок «историчного» как развертывания плана единой истории. По всей видимости, речь здесь идет о западно-европейской историчности.

Батлер этот аргумент не устраивает. «Я хотела бы знать, – спрашивает она, – когда нечто вроде разрыва или трещины вмешивается в целостность символической презентации, имеет ли этот разрыв какое-то отношение к тому, чью целостность нарушает? Иначе говоря, насколько негация определяется тем, что именно она негативирует? (курсив мой – А.С.).¹ Иначе говоря, Батлер хочет знать, является ли разрыв чем-то историчным. То, что этот вопрос с ее стороны отнюдь не носит досужего характера, можно показать, отослав к ее книге *Психика власти*, в которой Батлер, критически рассмотрев все возможности эмансипации, в итоге высказывает следующую мысль: «Субъект всегда выходит за пределы именно того, чем был связан».²

Что касается Жижека, то он, так и этак покрутив варианты полемики кубика-рубика и отказавшись от уже перебранных его предшественниками по-

зиций, заключает, что Реальным сегодня является капитализм – а иначе как объяснить упорство и одновременно виртуальную призрачность его логики, которая непрестанно возвращает на круг происходящее в экономике и политике?

Иначе говоря, участники – кроме Батлер – начиная дискуссию, уже имели, по моему мнению, в отношении Реального вполне узнаваемые виды: поразительно, насколько легко Реальное в результате легло в контуры, которые уже были подготовлены гуманитарным, критическим и вообще публично принятым контекстом – критика идентичности, критика глобального проекта историчности, критика универсальных гегемонных претензий и т.п.

В этом смысле Батлер попадает в самую сердцевину, когда с провокативной уступчивостью спрашивает: «Хорошо, договоримся, что все появляется с раной изначального разрыва – пусть оно даже происходит из самого этого разрыва. Но почему разрыв необходимо обозначать чисто техническим наименованием «Реальное»? Что здесь выигрывают?»³

Очень многое, – сразу могу я ответить. Термин «Реальное» сегодня склонны употреблять в дискуссиях, исходя из того или иного общего пункта субверсивной программы – Реальное должно (это чуть ли не входит в его обязанности) избавлять от гегемонных иллюзий, шокировать «уснувшее потребительское общество», подрывать «символические дисциплинарные нормы», вносить разрыв в то «Единое», на которое «репрессивная гегемония» сделала свою ставку и т.п. В терминах гендерной теории это означает, что Реальное учреждает тот самый подрыв фаллоцентрического Единого, или демонстрирует неполноту и ограниченность допустимых сексуальных норм. Вспомним в этом контексте высказывание Аленки Зупанчич: «Реальное случается с нами... как *невозможное*, как “невозможная вещь”, которая переворачивает нашу символическую вселенную вверх дном и приводит к реконфигурации этой вселенной...»⁴

Однако обратим внимание на тот факт, что Зупанчич ничего не говорит о том, что это за «невозможное» и как ему удастся добиться такой эффективности. Можно только удивляться, насколько эта неудобная – из самых неудобнейших, по мысли Лакана – «*вещь*» оказалась обласкана в интеллектуальном сообществе: цель и польза, которую Реальное «приносит субъекту» (читай, «человеку»), помещается в центр в качестве основного значения Реального. Не имеет значения, что цель эта носит протестный, субверсивный характер – от этого она нимало не теряет измерения пользы. В любом случае, едва только намеченный Лаканом выход посредством Реального из перспективы «Блага» и «морали» обернулся траекторией, немедленно загнавшей Реальное обратно. Необходимо оценить масштаб этого короткого замыкания и дать ему аналитическое разъяснение.

Так, никакой роли в данном случае не играет то, что с помощью Реального декларируют как раз таки отказ от разнообразных благ – например, благ «общества потребления». В данном случае имеет значение исключительно лишь структура высказывания, в которой подобное требование себя предьявляет.

Структура эта сегодня сделалась довольно отчетливой и придает Реальному «рабочий», деловой характер. Последний представляет, по сути, обращение с тем, что, независимо от своего содержания, получает определенное задание и от чего ожидают содействия на некоем заранее обрисованном фронте. Именно поэтому Жижек в одном месте может говорить о существовании «стандартной трактовки Реального» – трактовке, к которой он и сам, увлекаясь полемикой, приложил легкую руку. Невозможно не увидеть, что в среде апелляций к Реальному в итоге сложились некие общие ожидания – с его понятием ассоциируются характерные политические надежды и чаяния, на Реальное чуть ли не молятся. Мимоходом заметим, что все это в то же время означает сбывание худших ожиданий Лакана на счет судьбы всех попыток сделать Реальное предметом обсуждения.

Не в том дело, что Реальное должно быть очищено от всякой политики и всех попыток «дельного» определения. В нынешнем использовании понятия Реального смущает другое – а именно то, что у Реального не может быть сегодня никакого иного дела, кроме осуществления тех сценариев, о которых грезит – пусть с наилучшими целями – антигегемонный интеллектуальный габитус. С некоторого времени – такова диктатура использования термина – Реальное фигурирует как нечто, способное уязвить, расставить по местам, оборвать, положить предел. Тем самым понимание Реального неизбежно делается легковесным. В подобном режиме Реальное является просто новым именем для тех способов возражения, что уже хорошо известны и полемически опробованы ранее. Политическое значение в этом качестве не дисциплинируется посредством мысли о Реальном, но придает ей самой разряжающий, удовлетворительный контекст, в котором мысль легко сама себя узнает, подтверждая уже до того известное.

В связи с вышесказанным рассмотрим упреки, которые Лаклау и Жижек предъявляют Батлер, имея в виду ее упорное нежелание вводить Реальное в исследование. Конкретные упреки, которые были ей предъявлены, будут рассмотрены ниже. Пока я хотел бы отметить, что молчание Батлер по поводу Реального может иметь совершенно особый смысл: не выражает ли оно, что именно так, именно здесь, в раздающихся ныне обсуждениях Реальное теряет возможность быть артикулированным – не потому, что оно «бежит от артикуляции» как таковой, а лишь потому, что последняя всегда имеет определенную цель, и цель эта лежит в плоскости уже известных мер?

В любом случае, там, где в употреблении понятия Реального себя не ограничивают, возможны два исхода, которые я сейчас изложу. Необходимо предупредить, что речь идет не о каких-либо «внутренне-теоретических» следствиях (зло)употребления термином, но о реальной чреватости определенным политическим положением, которое учреждается там, где истина Реального – как того, что Реальным вполне реально же считают и провозглашают – представлена тем или иным образом.

Катастрофическая поверхность Мебиуса

Итак, как только первая весть о Реальном оказалась воспринята всерьез, по ее следам оформились две версии, к которым прибегают, когда о Реальном необходимо высказаться.

Первая из них вызывает воодушевление тем, что идеально укладывает Реальное в давно уже досадно пустующее место трансцендентного. Так появляется «запредельное внесимволическое Реальное», любопытной особенностью которого является то, что воспринимают его в облике некоей высшей и последней черты, видя в ней порой чуть ли не персональный вызов. Достичь этого Реального в подобном представлении – означает выйти за «все возможные пределы», разорвать пути всякой нормативности, отречься от всего и вся. Мы уже увидели, каким актом структурирована подобная готовность – полагающая себя живым и страстным опытом, она на деле немислима без того, чтобы Реальное оставалось в ней чем-то совершенно метафизическим. Именно поэтому слова о «пересечении всех пределов» небезнаказанны – их значение настолько же политически (и теоретически, что для нас не менее важно) узко, насколько широким поначалу кажется учреждаемый ими жест.

Но меня в рамках политической судьбы Реального интересует другой вариант. Согласно ему, Реальное есть что-то, причиняющее ограничение, в силу которого любое сущее оказывается «расщеплено». Сегодня этим понятием «расщепления» охотно пользуются – здесь следуют разъяснения, согласно которым любая речь не достигает полноты смысла, на которую претендует; субъект же этой речи оказывается «загражден» (*bar*) и лишен всякой возможности быть непосредственным в обращении с тем, чего он хочет (а то и «желает»); ему также выпала участь разочароваться в «картезианской перспективе», которую он для себя уготовил. Иначе говоря, по этому случаю открывается масса поводов указать субъекту на место, чем и воспользовались авторы проекта радикальной демократии – доктрины, полностью основанной на следствиях «расщепления субъекта». Доктрина эта обычно аттестуется «лаканианской» или даже «леволаканианской», что вызывает в обоих случаях равное – стремящееся к бесконечности – количество недоразумений. По этимологическим соображениям мы остановим ее чуть позже того состояния, в котором она представлена у Лаклау, осветив тот ее этап, на который она вышла, когда из политического вопроса о гегемонном сбое была превращена в этическое подспорье.

Мораль здесь непосредственно извлекается из необходимости осуществления того, что называется у позднего Лакана «идентификацией с симптомом» – нечто такое, что, например, Яннис Ставракакис сопоставляет с пресловутой «нехваткой» – термин, который успели истрепать до неосмысленности, но который впервые получает программное политическое звучание. Под императивом нехватки понимается необходимость памятовать о «радикальной неполноте»

себя и другого. Это обескураживающее Реальное перформативно вменяется субъекту с требованием помнить, что этот дар теперь у него навечно. Ставракакис утверждает, что само памятование об изначальной нехватке и есть самая высокая планка, которой может достичь сублимация. Иначе говоря, перед нами род морального императива наизнанку. Императив этот носит вполне картезианский характер, поскольку требует от субъекта полного сознания тех следствий, которые влечет для него его бессознательная структура. «Добродетель сознания нехватки» – вот как я могу охарактеризовать эту парадоксальную этику. При этом Ставракакис делает замечание, посредством которого предполагает прояснить свою позицию: «Демократия *не служит* причиной двусмысленности и нехватки, определяющих условия человеческого существования; она не служит причиной непреодолимого разделения и дисгармонии, определяющих каждую общественную форму. Она лишь пытается *прийти к согласию* со всем этим».⁵

Следует сразу сказать: поверить в это совершенно невозможно. Немыслимо полагать, будто речь идет просто об установлении «правильного» соответствия, о некоей подгонке политического строя к некоей *hominis essentia* – вечной человеческой сущности. Замечание Батлер об упущении историчной специфичности уместно здесь как нигде. Так или иначе, радикальный демократический этос представляет собой определенную политическую намеренность, относительно которой небесполезно поинтересоваться: о каком именно измерении субъектного идет речь и как будет выглядеть реальность мысли, взявшей «нехватку субъекта» на вооружение?

Разумеется, подобное разрешение вопроса о Реальном прежде всего преследует цель отрезвления сообщества, прививания ему толики здравоосмысленности – благое пожелание прежде всего адресуется любой властной претензии, дабы носитель ее помнил об изначальной немощи, роднящей и уравнивающей его со всеми прочими смертными. По моему мнению, это новое соломоново предупреждение, идущее от «радикально демократического» сердца, не обладает той объективностью, на которую претендует. Напротив, послышки демократической *демагогии* (мы используем это слово в буквальном греческом значении, без воследовавшего за этим дурного оценочного смысла) появляются на фоне интеллектуальной панорамы, мало сочетающейся с подразумеваемой здесь просвещенческой сознательностью. Панораму эту Жак Раньсер назвал «катастрофическим этическим поворотом», показав, насколько глубоко, начиная со Второй Мировой войны и ее непристойной политической изнанки, сообщество затронуто иллюзией некоей безвестной, но непоправимой пагубы. Ныне для того, чтобы питать эту иллюзию, отнюдь не нужно, чтобы в воздух взлетали дымящиеся обломки – достаточно простого намека на то, что уже в своей собственной структуре субъект носит нечто неустранимо ущербное («нехватку»). То, что ущерб носит абсолютно эфемерный, теоретический характер, как раз и делает его наиболее пригодным для возникновения чувства внечеловеческой

и непоправимой ущемленности, для которой как по заказу находится масса исторических «подтверждений» и «уроков».

Существующие прочтения понятия Реального отнюдь не произвольны – они определенным образом учреждены и потому сами способны учреждать нечто, что требует деконструкции. При этом лишь кажется, что первая авария (метафизическая авария Реального как трансцендентности) и вторая (этическая авария «радикальной демократии») представляют собой два несвязанных между собой варианта развития событий. По моему мнению, второе является отражением первого. Очевидно, что универсальная ограниченность, причиняемая «демократическим Реальным» (назовем его так, чтобы дополнительно усилить оксюморонность этого причудливого концепта), является лишь иным обликом того первого трансгрессивного Реального, которое в представлении почитателей остается способным на все, что угодно.

Фантазм трансцендентного лика Реального здесь сменяется фантазмом его иного лика, у которого более тонкие черты, притом, что узнать в нем первоначального экстатичного дикаря совсем нетрудно. Если в первом случае Реальное мыслилось еще не реализованным и ждущим субъекта, достаточно дерзкого, чтобы его добиться, то второй вариант живописует такое Реальное, которое уже разразилось над головами субъектов и касается каждого, выступая в виде недвусмысленного требования признать свою и чужую немощь и на этой основе волей-неволей выстроить добрососедские отношения. При том совершенно очевидно, что подобное Реальное, без разбору причиняя универсальную «нехватку», снова остается загадочно-неведомым (и потому опять внеисторичным и аполитичным).

Поэтому в вопросе Реального нет никакой нужды склоняться к тому или иному варианту, раскачивая лодку ангажемента. Я попытался показать, что эта «качка», по сути, производится одной и той же силой. Нам же нужен некий другой угол обзора, который будет оставаться недоступным, пока мы не перестанем настойчиво визнавать, какую *отчетливую* (т. е. «отдающую отчет») этико-политическую пользу может принести Реальное, и не займемся тем, что сигнализирует о неких тонких искажениях в уже существующих инициативах.

«Из замка в замок»: Реальное неподалеку от себя самого

Необходимо задаться вопросом, как возможно вывести Реальное за пределы привычных путей его толкования (которые грозят стать теми проторенными путями удовольствия, о которых говорил Фрейд). И здесь я хотел бы вновь вернуться к Батлер, вспомнив батлеровскую трактовку *Антигоны*: в фигуре Антигоны Батлер увидела всего лишь отсутствие у героини доступа к символическому выражению своего желания. Тем самым Батлер удалось полностью

обойтись без аргумента Реального, ради которого обращение к трагедии и было Лаканом задумано.

По этому поводу Жижек спрашивает: «Не обстоит ли дело так, что это именно Батлер не в состоянии признать существование Реального и пытается заменить его первичную динамическую роль перестановкой символов-означающих». ⁶ Тем самым Жижек утверждает, что Реальное имеет преимущество перед батлеровской операцией символической перестановки, поскольку если последняя просто имеет дело с множественными контекстами, то Реальное позволяет проникнуть вглубь самой логики трансформации этих контекстов. ⁷ Этот тезис поддерживают и те феминистские критики, для которых «свержение Антигоной закона Креонта не принадлежит к тому типу сопротивления, который описан Батлер, но иллюстрирует более радикальный жест упразднения отношений между субъектом и означиванием». ⁸

Дискуссанты пытаются переубедить Батлер, показав ей, что она ошибается. «Что кладет предел всем многочисленным переписываниям и ресигнификациям?», – спрашивает Жижек, предвкушая триумф. И, не затягивая с последним, прямо отвечает – «конечно, Реальное!». ⁹ Этот «мужественный» (не содержится ли в этой мужественности некий чисто демагогического выигрыш?) шаг делает спор зрелищным, но ни на йоту не продвигает нас к пониманию того, как именно и почему Реальное «срабатывает». Поэтому не так просто сбросить со счетов позицию Батлер. Весь спор в целом показывает некое отчетливое препятствие, которое встает отнюдь не между участниками и их «различным пониманием» Реального, но в том невидимом из позиции спора месте, где реплики получают свое бытие в качестве *акта высказывания* со всеми последствиями, которые остаются для самих акторов невидимыми. Именно потому, когда дискуссанты пытаются взять барьер чуть ли не с разбегу, это нисколько не улучшает положения.

В заключительной главке книги «С начала и без конца» Жижек признается, что теряет способность справляться с силой напора со стороны своих противников. У него возникает подозрение, что уже вот здесь они, авторы книги, пытаясь сказать о Реальном и испытывая теоретические затруднения, имеют дело с «чем-то Реальным». Становится очевидным, что та самая настоятельность, которая чисто словесно Реальному постоянно предписывается, в реальности может означать только одно: Реальное *уже* сказывается – в том числе и в речи, которая полагает себя всего лишь «анализирующей его понятие». Как раз вопреки той «объективистской» иллюзии, которую невольно могут питать аналитики Реального, действенность последнего очень скоро доказывает себя на том уровне, где дела с Реальным уже вполне «реально» же и ведутся – там, где Реальное призвано к участию и «заклинается» в своем пришествии (после Деррида мы помним, чем чревато подобное заклинание – как и полагается заклинанию, оно порождает призраков – и без этой издержки ни одна политика

невозможна). Мы видим, что нигде Реальное не показывает своей «подлинной натуры», но это не означает, что из усилий по его прояснению ничего в итоге не проступает, что ничего не приобретает по-настоящему проблематических очертаний, требующих разбора. Напротив, все без исключения наличное обсуждение Реального целиком представляет собой проблему.

При этом не может не иметь значения, что именно со стороны гендерной мысли в термине «Реальное» оказалось почувствовано некоторое неудобство, которое не позволяет успокоиться на его счет. Не принадлежность Батлер к гендерной теории и не свойственное ей поэтому подозрение к любой категоризации (начиная с «половой субстанции») сделали сомнение Батлер таким проницательным. Напротив, сама современная гендерная теория в целом обязана своим возникновением той аналитической интуиции, которая заключается в постановке под сомнение однозначной телеологии любого публичного высказывания. Именно благодаря этой интуиции Батлер оказывается легче пойти на определенные жертвы – и основной из них является отказ от фантазма Реального в качестве «последнего и решающего предела». Речь не идет о том, что мы останемся исключительно на уровне символического. Напротив, Батлер напрямую ставит нас перед фактом того, что на уровне Реального двусмысленности, присущие уровню символического, отнюдь не снимаются (как полагает лаканианское большинство), но достигают высшей напряженности.

Роль гендерного вмешательства здесь, несомненно, сверхдетерминирована – при этом она действительна здесь помимо и вне всякого обыденного представления о гендерной критике. Для сравнения можно вспомнить наблюдение Лакана относительно того, сколь много значения именно женская часть психоаналитического движения придает концепту «женского мазохизма». Последний является вопросом, который одним своим существованием бесконечно раздражает всегда гендерно-нейтральное интеллектуальное сообщество. Батлер отнюдь не исключение из этого ряда, поскольку вопрос мазохизма занимал ее до чрезвычайности. При том важно, что у этой заинтересованности нет и не может быть никакого объяснения, которое отсылало бы к реалиям «женской психологии». Заинтересованность, как показывает Лакан, исходит из другого источника, и главным поэтому здесь является отнюдь не «правда» о женском мазохизме, но некая реальная причина, в силу которой этот вопрос возвращается – причина, по сравнению с которой «реальность женского мазохизма» является как раз чем-то абсолютно мифологическим.

Точно так же дело обстоит и с вопросом «Реального», в отношении которого следует также держаться начеку. Необходимо признать, что тот вполне узнаваемый контекст, в котором с Реальным сегодня в политико-философской области имеют дело, может нигде не попадать в точку и ничего о самом Реальном не говорить. При том, несомненно, промашка, уклонение происходят именно по-

тому, что в образовании этого контекста приняла участие перспектива, к которой Реальное имеет самое непосредственное отношение.

Здесь я попытаюсь подойти к сути того беспокойства, которое заставляет Батлер упорно возражать всем однозначным пониманиям Реального. Батлер формулирует главное – у Реального может быть не одно место. Именно здесь получает объяснение как будто бы утрированное внимание Батлер к символическому – в контексте какой другой инстанции вопрос о «месте» мог бы еще встать с такой настоятельностью?

Справедливости ради надо сказать, что и другие лаканисты, занимающиеся Реальным, уже замечали странности, не позволяющие дать ему непротиворечивого определения. Лаклау даже предлагает последовать за одним из комментаторов, разводя «до-буквенное» и «после-буквенное» Реальное, чтобы всякий раз отличать, идет ли речь о первичном условии невозможности символизации или о ее вторичной неудаче. Надо сказать, что внимательное чтение Лакана показывает, насколько мало пользы от такого разделения – в частности, из-за него возникает ложное ощущение, будто Реальное где-то уже присутствует, а где-то еще только должно свершиться.

Ни в первом, ни во втором случае действительности это, очевидно, не соответствует. Напротив, следует обратить внимание на то, что в нынешней перспективе Реальное полностью отождествляется с расщеплением, которое проходит по субъекту, проекту, фантазму, высказыванию и т.п. Поражает уверенность, с которой интеллектуалы говорят о Реальном так, как будто это одновременно рука царя Мидаса, обладающая свойством однотипно действовать на вещи, и в то же время само золото – символ предела материальности и тайны субстанции. Деконструкция уже показала, что инструментальная и субстанциальная перспективы друг другу отнюдь не противоречат – напротив, они, как правило, вместе и образуют *оплот метафизики* со всеми ее (де)политическими последствиями. При этом ни один из дискуссантов не смог допустить мысли о том, что Реальное само может оказаться расщепленным – точно так же, как расщеплено то, что Реальное расщепляет – субъект или же речь. Никто не соглашается с тем, что Реальное само являет собой первый образец «загражденности». Моя позиция состоит в утверждении, что не Реальное вступает в сопряжение с политическим, придавая последнему смысл или само набираясь от него значимости. Политичен, прежде всего, сам вопрос о Реальном. Это заставляет бдительнее относиться к тому, что происходит, когда о Реальном говорят прямо.

Поучительно, что пытаясь уловить двусмысленность Реального, никто из дискутирующих не подумал о том, что очевидное расщепление Реального задается уже тем фактом, что Реальное в определенный исторический момент делается объектом экспозиции – по его поводу вдруг начинают открыто говорить. Существует рубеж, после которого Реальное оказалось публично опознано и объявлено как нечто, обладающее величайшей влиятельностью в отношении

судьбы субъекта и его речи. В любом случае, удвоение, которое Реальное претерпевает в акте запроса к нему, налицо – и к пресловутой «объективной позиции исследователя» оно отнюдь не сводится.

Потому прямая апелляция, наивный вопрос к Реальному из серии «что это и для чего?» от нас закрыты, однако отнюдь не из-за «трансцендентного» характера Реального. Напротив, несказуемость, прежде всего, происходит из того, что невозможно, задаваясь вопросом о Реальном, не задаться мыслью о том, почему вообще в критической теории этот вопрос смог быть поставлен?

Очевидно, что первое не может быть объяснено, если мы не уясним, что не до конца еще понимаем значение второго события. При этом сказанное нимало не противоречит первоначально заявленному – тому, что Реальное по самой своей сути не может дожидаться, пока его запросят, что оно *уже* должно влиять помимо его исследователей – в том числе и на способ, которым о нем спрашивают. Противоречие между двумя этими позициями можно увидеть лишь в том случае, если мысль все еще придерживается сценария, где Реальному отведена известная мера участия и определенная судьба – зачастую просто дублирующая нынешние представления о сути гуманистического или демократического процесса.

Приходится предположить, что если Реальное останется незыблемым оплотом, решающим пределом, «опус магнум» всякого свершения, то независимо от того, считать ли Реальное «разрывом», «ускользающим ничто» или еще чем-либо какое *реальное изменение* на этой основе не состоится. Напротив, только *уже* происшедшее уклонение каждого акта и каждого заявления делает в отношении Реального заметной его реальную влияние, которая при этом никогда не действует непосредственно. Не в том дело, что, например, давление Реального заставляет пересмотреть факт существования той же символической половой дивергенции. Смягчение полового ригоризма, упрочение женских прав отнюдь не являются вещами, которые происходят напрямую из Реального – напротив, как многократно показывала Батлер, здесь порой могут сыграть роль самые что ни на есть иллюзорные ставки. Именно Воображаемое зачастую распоряжается в горизонте борьбы за права. Жижек, опираясь на лакановскую максимум об отсутствии у субъекта сексуальных отношений (что происходит как раз по причине половой определенности), утверждает, что неустранимость полового различия как раз и есть предъявление чистого Реального, остающегося нетронутым под поверхностью либеральной работы в области равенства полов. Однако дело обстоит гораздо принципиальнее. Реальное делает политическим агентом то, что оно никогда не действует в качестве единого агента, но *одновременно сказывается на два разных счета*, один из которых постоянно оказывается упущенным, выпавшим, что в итоге и заставляет ставить вопрос заново, лишая уже совершившееся публичное заявление его презумпции как в качестве объективного, так и в качестве политического. Именно так сбывается

лакановское «в Реальном никакой нехватки нет... Можно говорить только о нехватке Реального».

Именно потому нет необходимости вершить суд между «политико-историчным» и «Реальным», выясняя, что из них обладает первенством и насколько одно субверсивно в отношении другого. Невозможно удовлетвориться и жижекковской формулой «Реальное – это и есть то, что движет историчным», поскольку «историчное», равно как «политическое», само не обладает никакой презумпцией единства: даже в виде понятия. В этом смысле Лаклау прав в том, что «историчное» может быть поколеблено и прервано, но его доверие к единому Реальному, на мой взгляд, лишено оснований. Вполне возможно, что Реальное прерывает любой сон, любой поток воображаемого. Но когда мы видим как, выражая полную готовность иметь дело с Реальным (а у нас нет оснований сомневаться в искренности авторов, круг которых далеко выходит за пределы трех авторов книги *Contingency, Hegemony, Universality*), на наших глазах продолжают длиться сон того или иного проекта, подобное предположение имеет мало значения.

Поэтому жижекковское название последней главы работы «С начала и без конца» является симптоматичным. Отсюда вывод данной статьи: необходимо завершить историю Реального в качестве *категории* со всеми характерными следствиями этого положения. Вместо того, чтобы держать Реальное на службе у полемики на заранее заданные проблемные темы, необходимо показать, что вся проблемность, по существу, лежит на его стороне – и в этом смысле «проблемой» обычного образца уже не является. От способности признать такое положение дел и зависит сегодня реполитизирующая перспектива.

-
- 1 J. Butler, E. Laclau, S. Zizek, *Contemporary, Hegemony, Contingency*, (London: Verso, 2000), p. 272.
 - 2 Дж. Батлер, *Психика власти* (М. 2003), с. 14.
 - 3 J. Butler, E. Laclau, S. Zizek, *Contemporary, Hegemony, Contingency*, p. 152.
 - 4 A. Župancic, *Ethics of the Real: Kant, Lacan* (London: Verso), p. 235.
 - 5 Я. Ставракакис, «Двусмысленная демократия и этика психоанализа», *Логос*, № 2, 2004.
 - 6 J. Butler, E. Laclau, S. Zizek, *Contemporary, Hegemony, Contingency*, p. 178.
 - 7 Ibid. p. 184.

- 8 A. Swiffen, «Politics of Law and the Lacanian Real», *Journal Law and Critique Publisher*, Issue Volume 21, N. 1, February, 2010, Pp. 39-51. См. также анализ L. Walsh, «Her Mother Her Self: The Ethics of the Antigone Family Romance», *Hypatia* 14.3 (1999) Pp. 96-125.
- 9 J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, *Contemporary, Hegemony, Contingency*, p. 224.